

## ГАРМОНИЮ УНИЧТОЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО 4

### *Интервью с Беллой Ахмадулиной 31 октября 1987 года, Лондон*

— Белла Ахатовна, мне кажется, вы один из немногих русских поэтов, не страдающих «комплексом Бродского». Чем вы объясняете само существование подобного комплекса? Чувствуете ли вы его у других поэтов, или это моя фантазия?

— Валя, милая, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Что некоторые как бы чувствуют себя при Бродском меньше ростом? Или его влияние?

— Речь идет не о влиянии в положительном смысле, не о понимании его размера и величины, а о тех поэтах, которые непременно как-то хотят уменьшить его величину, уязвить самого Бродского.

— О нет! Таких поэтов я не знаю.

— Я же таких поэтов встречала и на Западе, и среди приезжающих из Союза.

— Во всяком случае, я с ними не общаюсь. Иосиф есть совершенство.

— Как вы чувствуете его присутствие?

— Я вчера уже говорила для русской службы Би-Би-Си<sup>5</sup>, но я могу повторить. Присутствие великого поэта в мире очень сильно влияет на существование человеческое. И даже если люди не читали Бродского... Есть и такие, которые не читали. Но вдруг я замечаю его влияние... по стихам молодых поэтов, которые мне известны. Они приносят мне свои стихи, и я спрашиваю: „Вы очень много читали Бродского?“ Они говорят: „Ну где нам прочесть?“ — „Но ведь заметно, что вы его читали“. Его влияние так заметно, так благодатно. И я думаю, что его присутствие — оно повлияло как-то и на развитие умов, и на способ стихосложения поэтов, которые живут в России.

— Не могли бы вы более конкретно сказать о том, в чем это проявляется, как вы чувствуете, что в их стихах присутствует Бродский?

— Среди поэтов, которые ко мне обращались — в строфике, в ритме, в интонации. Они меньше читали Бродского, чем я, но они так любят Бродского. Наверное, он что-то предугадал. Его влияние сказалось даже на устройстве... если можно так сказать, на устройстве строки. Ведь у Бродского сам способ... то есть я понимаю, что это нельзя назвать способом, но соотношение слова и слова, и переход одной строки в другую... Этого не было прежде в русском стихосложении.

— Это было, но не в таком количестве, у Хлебникова, у Цветаевой...

— То, о чем я говорю, я читала только у Бродского. Это страннейшее соотношение слова и слова, строки и строки... И потом важно, что Иосиф

есть совершенство... совершенство гармонии. Я сейчас говорю только о поэзии. Это и есть совершенство, то есть его слова как в формуле какой-то. Если что-то убрать, переменить, то распадается все: строка, формула, распадается мироздание. Потом, вот мне говорили американцы, англичане, что его английский есть его собственное изобретение, это его особенный, его собственный английский. И пока мы страдаем в России — где Бродский и где Россия — я думаю, что и это ему пригодилось. То есть у него нет тупости, малости, замкнутости. Он всемирен. И это чувство всемирной культуры, языка вообще, мне кажется, очень сказалось на его поэтике.

— В этом смысле вы считаете, что он извлек нечто положительное из факта своего изгнания для русской словесности?

— Не сомневаюсь в этом.

— Даже ценой пятнадцатилетнего эмоционального неблагополучия, ценой здоровья?

— Не сомневаюсь. Да, ценой здоровья. Поддержимся за дерево. Да и его жизнь в России... она для него... Ценой каких страданий, какого ужаса. Но все-таки это самый чистый, самый благородный путь. Ну да, конечно, ссылка — все-таки лучше, чем выступать на стадионе в Лужниках.

— А как вы относитесь к тому факту, что Бродский, в какой-то степени мифологизируя язык, создает из языка как бы почву своей беспочвенности? И его тревожит, я знаю, что он оторван от живого русского языка, что он не может следить за идиоматикой ежедневной жизни.

— Да, его житейский язык очень странен.

— Но и ваш, Белла Ахатовна, житейский язык очень странен, он немного до-тургеневский.

— Мой житейский язык и Иосифа непохожи, потому что он говорит гораздо проще и его язык как бы больше соответствует русской житейской речи, даже с ее вульгаризмами...

— Так что вы считаете, что его опасения напрасны?

— Иосифу нечего опасаться. Если мы имеем дело с исключительным и великим случаем, как с Иосифом и как... Я Иосифа ни с кем не сравниваю, потому что каждый человек это совершенное одиночество, потому что это единственное, но в великих случаях, как с Буниным, как с Набоковым, человек вывозит с собою нечто, что становится... Он как бы внутри себя может плодить русский язык и совершенно в этом преуспевает. Ему обязательно слышать, как вокруг говорят... Он это сам как бы воспроизводит. Он сам становится плодородной силой. Как бы он сам сад и сам садовник. И он вывозит с собою такое, что он уже не зависит от отсутствия... Будучи разлучен с бытовой речью, он сам становится плодородной почвой русского языка. Я когда-то это сказала Набокову<sup>6</sup>. Он спросил: „Вам нравится мой русский?“ — Я сказала: „Ваш русский язык, он лучший...“ — „Но мне казалось, что это замороженная клубника,“ — ответил Набоков. Как бы с человеком судьба... Но с такими людьми... — что значит судьба? Тут совпадает одно с другим. Он сам плодит язык, вот в чем дело.

— Вы такого высокого мнения о Бродском. Как бы вы его защитили от тех писателей и критиков, которые обвиняют Бродского в том, что он холодный поэт, что у него мало стихов о любви, что он презирает читателя?

— Я таких дураков даже никогда не видела и не слышала.

— *Вы не чувствуете, что он холодный поэт?*

— О нет! Как это может быть! У него очень много стихов о любви. Я, по-моему, прочитала все, что написано.

— *Вы считаете, что надо отместить и не принимать всерьез эти упреки?*

— Да какие к нему могут быть упреки!? Он, несомненно, должен вызывать разное к себе отношение, но знаете, что мы сейчас о дураках будем говорить?

— *Хорошо, тогда я попрошу вас защитить Бродского от поэта, которого вы знаете, от Кривулина. В двух своих статьях о Бродском он сказал, что когда Иосиф появился, Анна Андреевна повторяла, что наступил новый расцвет русской поэзии.*

— Она была совершенно права.

— *Теперь, когда Бродский вырос, его присутствие в русской поэзии свидетельствует о ее тупике, о „состоянии затяжного кризиса“, а не о расцвете?*

— Я не знала, что он так рассуждает о поэзии. Бродский и есть единственное доказательство расцвета русской поэзии.

— *Как вы объясняете тот факт, что многолетнее общение Бродского с Ахматовой никак не отразилось на его индивидуальности? Как бы вопреки ее огромному духовному и культурному влиянию — стилистически он ближе к Хлебникову и Цветаевой, чем к ней?*

— Тут важно вот что: в Бродском есть одна такая великая черта — еще одна великая черта — это его врожденное умение воспринимать всеобщую культуру. Учитывая, какое образование было, это его личный подвиг. Это на роду ему написано... его соответствие вселенной, всем драгоценностям мира, античным и библейским, и более современным. Это собственный его подвиг. Он единственный, кого я знаю, кто вбирает в себя все лучшее. На нем не сказалась убогость жизни. А влияние Анны Андреевны Ахматовой... тут еще два счастливых доказательства: ее совершенства и совершенства Бродского. Она сразу поняла, с каким чудом мы имеем дело. Я уверена, что и стилистически есть ее влияния, но это был бы бесполезный поиск, зачем? Этот человек все берет себе... Главное у него — его способность усвоить долг жизни.

— *Увы, исследователю творчества Бродского, выискивающему его русские корни, приходится быть более конкретным. Кроме Кривулина, я хочу еще процитировать Карабчиевского. В своей книге „Воскресение Маяковского“ он устанавливает связь между Цветаевой и Маяковским, что легче установить, и между Маяковским и Бродским, утверждая, что Маяковский возродился и живет в Бродском<sup>8</sup>. Может быть, Карабчиевский не до конца прочел Бродского?*

— Я читала книгу Карабчиевского, но этого я как раз не помню. Во всяком случае, я думаю, что, даже учитывая талант Маяковского и его трагическую судьбу... Но как раз Маяковский и Бродский — это совершенные противоположности, совершенные. Маяковский — трагически несбывшийся человек, а Бродский — трагически совершенно сбывшийся. И если они могут соответствовать друг другу, то только в смысле совершенной обратности.

— Белла Ахатовна, я хотела бы спросить о вашей личной связи с Бродским, с его поэтикой. Прочитав внимательно в последнее время ваши стихи, я увидела, что две темы доминируют в вашей поэзии: это темы времени и языка. Темы, совершенно магистральные для поэзии Бродского. Он иногда говорит с самим временем, обращен ко времени „в чистом виде“. Случайно ли это тематическое сходство?

— Мой способ отношения к Бродскому один, он просто ненаучен. Это обожание. Сама же я уже где-то говорила в связи с Ахматовой: „всех обожаний бедствие огромно“, потому что обожатель никогда не может рассчитывать на взаимность. И я уверена, что Иосиф... я никогда не думаю о себе, когда я думаю о нем! И даже когда мне говорили (тут жест, который вы объясните): „Вы знаете, что Бродский о вас так!“ [большим пальцем вниз]. Это как ему угодно. Мое дело говорить о нем так [большой палец вверх].

— Это, кстати, совсем не правда. Я говорила о вас с ним.

— У меня только нежность. И вот я уже вчера сказала, что когда я слышала о Нобелевской премии... Я, кстати, всегда знала, что Нобелевскую премию Бродский получит, я только думала, что я не доживу до этого. Если мы будем считать это таким самым высоким признанием, то я восприняла это как какой-то личный триумф, потому что это совпадало с моей нежностью, с моим отношением к Бродскому, с тем, как я его понимаю. Так возликовать! Как будто это моя личная удача! Радость моего существования, что я дожила. Что бы там ни было дальше, только одно важно, чтобы, конечно, он был здоров. А потом многие и многие литературоведы, ученые будут заниматься тем, чтобы понять, кем именно и чем приходится Бродский русской словесности. И я уверена, об этом еще очень много будут думать и писать. Для меня это подтверждение, что русская поэзия жива, не иссякла.

— И все-таки я не позволю вам уйти от вопроса и задам вам его более конкретно. У вас есть стихотворение „Бабочка“<sup>9</sup>, которое перекликается с „Бабочкой“ [Ч:32-38/II:294-98] Бродского не только по названию, но и тематически.

— У меня гораздо проще. Это правда было 16-го октября, и там правда была бабочка между стекол. Наверное, как-то сказалось, но только нечаянно. Я эту реальную бабочку помню до сих пор: „октябрь, шестнадцатое, вторник — / и Воскресенье бабочки моей“.

— Тем примечательнее, что ваша бабочка и бабочка Бродского у вас вызвали общие мысли о жизни, о смерти, о бытии и небытии.

— Бродский ближе мне, чем все остальные писатели и поэты, наши современники. А его мысли о жизни и смерти замечательны, то есть он очень осознает вечность, и иногда даже грустно это читать, настолько он чувствует небытие.

— Белла Ахатовна, я задам вам еще один вопрос. Это вопрос будущего, но я задам его сейчас: Пушкин и Бродский. Для одних это кощунственное сравнение, для других — вполне реальное<sup>10</sup>.

— А почему бы и нет? Во-первых, мы все как-то вослед Пушкину... мы все о Пушкине... и все мы перед Пушкиным... Может быть, Бродский и есть новое явление Пушкина. Совершенство и совершенство. Во-вторых, Бродский меньше других провинился перед Пушкиным, перед гармонией.

— Это сравнение осложняется еще и тем, что за спиной у всех у вас „великолепная семерка“: Блок, Хлебников, Маяковский, Ахматова и Мандельштам, Цветаева и Пастернак. И они еще так близки к вам, что вы оборачиваетесь на них, хотите или не хотите, вы чувствуете их дыхание за своей спиной. И вдруг через их головы сравнить одного из вас с Пушкиным... Этого современник Бродского принять не может.

— Почему не может? Я могу, потому что лучше, чем Бродский, сейчас поэта в мире нет.

— Среди не только пишущих по-русски?

— Ну, может быть, я мало читаю. В этом смысле они уже совпадают.

— Не кажется ли вам, что Бродскому не только судьбой и талантом, но и самой потребностью русского языка выпала роль Пушкина?

— Поясните свою мысль.

— За 70 лет советского государства в русском языке произошли такие изменения, что потребовался поэт, который бы зафиксировал все эти изменения в совершеннейшей поэтической форме, при этом нагрузив свои стихи вечными проблемами бытия.

— Но ведь в это время жили и Пастернак, и Ахматова. Они тоже хранители русского языка.

— Но они не допускали такой демократизации своей поэтической речи, которую мы наблюдаем у Бродского. В его поэзии есть все.

— Это чудо. Это совершенное чудо. И в этом смысле мы совершенно можем сравнить Бродского с Пушкиным. Все-таки считается, что с Пушкина начинается поэтический язык наш. И Бродскому совершенно это присуще. Его язык невиданный, неслыханный. Это совершенное его открытие. И он в этом смысле... то есть совершенно роковой человек для какого-то нового времени, да? Эта выпренность и низкоречие! Это просто замечательно! Ничего подобного этому нет! И в это входит все. Но я не научно... Он как бы и завершение чего-то и...

— То есть если для вас он вершина русской поэзии, ее высшая точка, то для будущего он будет служить началом, отсчетом чего-то.

— Я не сомневаюсь в этом.

— Вы уже говорили немного по поводу его связи с мировой и европейской культурой. Вы считаете, что он один из наших самых европейских поэтов?

— О да, уверена.

— Даже более европейский, чем Мандельштам?

— Но все-таки вспомним, когда родился Мандельштам и когда Бродский. Это его причастие к всемирному, к всемирной культуре. Мандельштаму это тоже свойственно, но Мандельштам родился много прежде. Мы уже говорили об этом. Это, конечно, черта только, кажется, гения.

— Считаете ли вы, что изменилась бы поэзия Бродского, если бы он остался в России и жил там?

— Вы знаете, сослагательное наклонение всегда бесполезно, оно ничего нам не дает. Ну просто уцелел ли бы он?

— Я такой же вопрос задавала ему. Он сказал, что не важно, что случилось бы лично с ним<sup>11</sup>.

— К судьбе тоже не применимы никакие сослагательные наклонения. Мне кажется, что трагедия разлуки Бродского с Россией, она не столько трагедия для Бродского, сколько для людей, которые там живут. Но все равно это останется, это всегда будет. Мне кажется, что даже в географическом плане его судьбу можно считать счастливой. Все правильно.

— *В чем же суть разногласий Бродского с Советским государством? Почему он так неприемлем для них?*

— Просто, знаете, они не так воспринимают. Что значит разногласия? Просто никакого... Они как раз... Вообще поэт и государство никогда еще не совпадали. К нему там особых упреков как бы нет. Будем надеяться, что он будет напечатан<sup>12</sup>.

— *Но конфликт остается. В чем, по-вашему, суть этого конфликта? Ведь такого конфликта нет у других его „знаменитых“ современников.*

— Как всегда во всем мире такие, как Пушкин и Бродский...

Знаете, насколько я знаю и слышала мнения официальных лиц в Советском Союзе, они сейчас ничего против Бродского не имеют. Но это все так мелко по сравнению с талантом Бродского, что что об этом говорить. Дело не в этом, а дело в таланте. А этот конфликт всегда был и будет. Как же иначе может быть? Поэт — это поэт, а устройство — это устройство. И никакого уюта или комфорта из этого никогда не сделаешь.

— *Хорошо, вернемся к поэзии. Тот факт, что Бродский разлучен с русским читателем и, что более важно, русский читатель разлучен с ним...*

— Нет, из этого важно только одно, что сам Иосиф этим огорчен. Так или иначе, стихи Бродского — это лучшее, что сейчас есть в русской поэзии.

— *Да, но они недоступны широкому русскому читателю.*

— Да, они недоступны, но мы не можем всего добиться. Если мы уже в мире имеем великого русского поэта, то не будем капризничать и не будем говорить: все должно быть хорошо. Ну, сейчас не прочтут — потом прочтут.

— *Я не совсем об этом. Подготовлен ли русский советский читатель к пониманию поэзии Бродского?*

— Подготовлен. Совершенно подготовлен.

— *То есть, если бы его завтра напечатали всего, он стал бы популярен?*

— Купить бы нельзя было книжку!

— *А может быть, это потому, что он был запрещен?*

— Это не важно.

— *Но ведь он труден.*

— Он труден. Но все-таки в России есть люди, которые умеют думать, и их немало. И книжку нельзя было бы купить. И обожателей у Бродского, их немало при всей трудности его поэзии. Я исторически как-то об этом думаю: не прочитают его сегодня — прочитают завтра. Какая разница?

— *Но мы-то с вами уже прочли.*

— И если Бродский собирается или надеется приехать, и...

— *Вы думаете, что он приедет?*

— Не знаю, вы у него спросите.

— Поскольку он сам в одном из интервью ответил уже на этот вопрос, я могу его процитировать. Он сказал, что вернулся бы в Россию при одном условии, если бы его там всего напечатали<sup>13</sup>.

— Да, правильно. Это значит „нет“. Два раза судьбу не меняют. Но если он захочет... Мне даже больно подумать, как он появится в Ленинграде.

— Как бы он там был встречен?

— Обожанием. Обожанием. Только обожанием.

— Еще одна тема, очень важная для Бродского. Ему кажется, что мы стоим на пороге постхристианской эры, если уже не перешагнули его. Об этом он заговорил уже в 1965 году в стихотворении „Остановка в пустыне“ [О:166-68/II:11-13], а недавно в пьесе „Мрамор“ [IV:247-308]. Не могли бы вы прокомментировать эту тему? Оправданы ли его опасения? Волнует ли вас эта идея конца?

— Да, у Бродского эта идея выражена очень сильно. Я думаю, что если все на какое-то время и погибнет, то все равно это возродится, все равно будет. Иначе и не может быть. Или в пепел все превратится. Потому что это гармония, а гармония такова, что ее никакими искусственными силами нельзя уничтожить. Нарушить, разрушить — это возможно, но навсегда уничтожить невозможно. Кстати, стихи Бродского — это... я даже не знаю, как это назвать... мысли о Боге. Поэт всегда разговаривает только с Богом, остальное...

— В этом смысле вы согласны с теми, кто считает, что поэт не может быть неверующим по существу?

— Да, вернемся к Пушкину. Он был известный атеист. И терпел за это. А кто более всего соответствовал правилам христианского поведения, христианской этики, чем Пушкин? Доброта, жалость к другим...

— И в этом смысле вы считаете, что термин „христианский поэт“ излишен?

— Да. Дар — это Божья милость. Это может не совпадать с религиозным представлением, но это, несомненно, так.

— Белла Ахатовна, не могли бы вы сказать немножко о себе? Какая ваша судьбоносная тема? То есть о чем вы не можете не говорить?

— Ну, что говорить. У вас есть мои книжки, вы меня достаточно знаете. Я только скажу вот что. Я во все эти годы, конечно, помогала людям, которые живут в России. Я была им нужна. Все-таки, где Бродский, а я тут как бы на месте. Я была каким-то утешением. Бродский выше, но он и дальше.

— Белла, это ваша природная скромность. Но я скажу вам сейчас... из моего разговора с Бродским, кстати, и чтобы доказать вам, что его, якобы такой, жест ничему не соответствует. Он сказал однажды, что Белла — один из немногих русских поэтов, живущих в России, которому каким-то чудом удалось сохранить чистоту, совесть и независимость<sup>14</sup>. То есть вы не шли на компромиссы, как некоторые, вы устояли перед соблазном злободневности, которым так многие поддались. Как вам это удалось?

— Ну, значит, чего-то недоставало в человеке. Я всегда, когда говорю о Бродском, повторяю, что у него, к счастью, не было мелких и пошлых искушений: огромной аудитории, стадионов. У меня все это было. Как мне удалось... Ну, человека опекает какая-то звезда, несомненно, что-то или кто-то свыше опекает. Но и сам ты должен себя сильно опекать. Вдруг я иногда слышу голос: „Делай так!“ или „Не делай так!“ И я слушаюсь. И тогда мне за это дается какое-то прощение. И я могу хоть писать. Но этой опеки недостаточно. Нужен еще и собственный присмотр за собою, за своей совестью. Не забудем, не расплывемся в ощущениях, что за нас все свыше предрешиено. Это, конечно, так, но и сам ты должен соблюдать... Ну вот, Валя...

— Устали, Белла?

— Нет, не устала. Но нам надо собираться.

— Хорошо, хорошо. Большое спасибо.

## ПУТЕШЕСТВИЕ <sup>15</sup>

Человек, засыпая, из мглы выкликает звезду,  
ту, которую он почему-то считает своею,  
и пеняет звезде: „Воз життя я на кручу везу.  
Выдох легких таков, что отвергнут голодной свирелью.

Я твой дар раздарил, и не ведает книга моя,  
что брезгливей, чем я, не подыщет себе рецензента.  
Дай отпраздновать праздность. Сошли на курорт забытья.  
Дай уста отомкнуть не для пеня, а для ротозейства.”

Человек засыпает. Часы возвещают отбой.  
Свой снотворный привет посылает страдальцу аптека.  
А звезда, воссияв, причиняет лишь совесть и боль,  
и лишь в этом ее неусыпная власть и опека.

Между тем это — ложь и притворство влюбленной звезды.  
Каждый волен узнать, что звезде он известен и жалок.  
И доносится шелест: „Ты просишь? Ты хочешь? Возьми!“  
Человек просыпается. Бодро встает. Уезжает.

Он предвидел и видит, что замки увиты плющом.  
Еще рань и февраль; а природа цвести притерпелась.  
Обнаженным зрачком и продутым навывлет плечом  
знаменитых каналов он сносит промозглую прелесть.

Завсегдатай соборов и мраморных хладных пустынь,  
он продрог до костей, беззащитный, как все иноземцы.  
Может, после он скажет, какую он тайну постиг,  
в благородных руинах себе раздобыв инфлюэнцы.



Чем южнее его бег, тем мимоза темней и лысей.  
Там, где брег и лазурь непомерны, как бред и бравада,  
человек опечален, он вспомнил свой старый лицей,  
ибо вот где лежит уроженец Тверского бульвара.

Сколько мук, и еще этот юг, где уместнее пляж,  
чем захоронье. Прощай. Что растет из гранитных расселин?  
Сторож долго решает: откуда же вывез свой плач  
посетитель кладбища? Глициния — имя растений.

Путник следует дальше. Собак разноцветные лбы  
он целует, их слух повергая в восторженный ужас  
тем, что есть его речь, содержание и образ судьбы,  
так же просто, как свет для свечи — и занятие, и сущность.

Человек замечает, что взор его слишком велик,  
будто есть в нем такой, от него не зависящий, опыт:  
если глянет сильнее — невинную жизнь опалит,  
и на розовом лице останется шрам или копоть.

Раз он видел и думал: неужто столетья подряд,  
чуть меняясь в чертах, процветает вот это семейство? —  
и рукою махнул, обрывая ладонью свой взгляд  
(благоденствуйте, дескать), — хоть вовремя, но неуместно.

Так он вчуже глядит и себя застигает врасплох  
на громоздкой печали в кафе под шатром полосатым.  
Это так же удобно, как если бы чертополох  
вдруг пожаловал в гости и заполонил палисадник.

Ободрав голый локоть о цепкий шиповник весны,  
он берет эту ранку на память. Прощай, мимолетность.  
Вот он дома достиг и, при сильной усмешке звезды,  
с недоверьем косится на оцарапанный локоть.

Что еще? В магазине он слушает говор старух.  
Озирает прохожих и втайне печется о каждом.  
Словно в этом его путешествия смысл и триумф,  
он стоит где-нибудь и подолгу глядит на сограждан.

1977

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

<sup>1</sup> См. „Грани“ (No. 58, 1965, С. 128-31; No. 74, 1970, С. 3-6), „МетрОполь“ (Ardis: Ann Arbor, 1979, С. 21-48), „Часть речи“ (No. 2/3, 1981/2, С. 69). В 1968 году книга избранного Беллы Ахмадулиной „Озноб“ вышла в издательстве „Посев“.

<sup>2</sup> На английском опубликованы книги: „Fever“ (William Morrow: New York, 1969) и „The Garden“ (Henry Holt: New York, 1990).

<sup>3</sup> J. Brodsky, „Why Russian Poets?“ („Vogue“, Vol. 167, No. 7, July 1979, P. 112).

<sup>4</sup> Опубликовано в кн. „Brodsky's Poetics and Aesthetics“, Eds. by L. Loseff & V. Polukhina (Macmillan Press: London, 1990, P. 194-204).

<sup>5</sup> Белла Ахмадулина приехала в Лондон с театром им. Маяковского в октябре 1987 года. 29 и 30 октября она выступала на вечере поэзии в The Littleton Theatre вместе с армянским поэтом Геворгом Эмином. Интервью состоялось 31 октября в гостинице The West Morland Hotel, где она жила вместе со своим мужем, художником Борисом Мессерером.

<sup>6</sup> Белла Ахмадулина навестила В.В.Набокова в Швейцарии в марте 1977 года, незадолго до его смерти. Она написала ему из Парижа, куда приехала по частному приглашению Владимира Высоцкого и Марины Влади. Набоков ответил на письмо, согласившись ее принять. Он был очень слаб, „почти прозрачен“, как выразилась Белла Ахатовна. Аудиенция продолжалась около 50 минут. Ахмадулина рассказывала интервьюеру о своем визите к Набокову во время предыдущего приезда в Англию в апреле 1977 года.

При подготовке настоящего издания Белла Ахатовна внесла в этот эпизод следующее уточнение: „Я, действительно, вместе с Борисом Мессерером видела Владимира Владимировича Набокова в Швейцарии в марте 1977 года. Я писала письмо Владимиру Владимировичу Набокову из Парижа (подлинник письма, как я думаю, — в архиве Набокова, копии не было, по памяти я воспроизвела текст письма Рене Герра, это было важно для меня). Но я никогда не просила принять меня и не собиралась оказаться в Швейцарии. Краткий ответ Владимира Владимировича Набокова был получен нами позже встречи в Монтре — Елена Владимировна Набокова (Сикорская) и другие любящие меня люди в соответствии с их волей любви устроили эту встречу, как бы вопреки моей воле обожания. // Слова: очень слаб, „почти прозрачен“ ... не могут быть достоверны вне контекста моего художественного ощущения и описания. А я не писала о Набокове, я могла так сказать лишь после его смерти, ... — через десять лет.“ (Из письма Виктору Куллэ, 12 сентября 1992). В „Литературной газете“ (22 января 1997, С. 12-13) опубликована проза Беллы Ахмадулиной „Робкий путь к Набокову“, датированная декабрем 1996.

<sup>7</sup> Статья Виктора Кривулина „Иосиф Бродский (место)“ была опубликована под псевдонимом Александр Каломиров в „Вестнике РХД“ (No. 123, 1977, С. 140-51); перепечатана в „Поэтике Бродского“ (Hermitage: Tenafl, 1986, сс. 219-29). См. также статью А.Каломирова „Двадцать лет новейшей русской поэзии“ в „Русской мысли“ (27 декабря 1985, „Литературное приложение“ No. 2, С. VI-VIII), В.Кривулин, „Слово о нобелитете Иосифа Бродского“ в „Русской мысли“ (11 ноября 1988, „Литературное приложение“ No. 7, С. II-III) и его интервью в настоящем издании.

<sup>8</sup> Юрий Карабчиевский, „Воскресение Маяковского“ („Страна и мир“: Мюнхен, 1985, С. 272-79). В России опубликовано издательством „Советский писатель“ (М., 1990, С. 204-14). О этой параллели см. В.Куллэ, „Обретший речи дар в глухонемой вселенной...“ (Наброски об эстетике Иосифа Бродского) („Родник“, No. 3, 1990, С. 77-80).

<sup>9</sup> Б.Ахмадулина, „Тайна“ („Сов. пис.“: М., 1983, С. 88-89).

<sup>10</sup> См. примечание 22 к интервью с Яковом Гординым в настоящем издании.

<sup>11</sup> И.Бродский, „Вектор в ничто“, интервью Валентине Полухиной, 10 апреля 1980 г., Ann Arbor, Michigan. Неопубликовано.

<sup>12</sup> Вскоре после этого интервью стихи Бродского были опубликованы в „Новом мире“ (No. 12, 1987, С. 160-68), „Неве“ (No. 3, 1988, С. 106-109), „Огоньке“ (No. 31, 1988, С. 28-29), „Литературном обозрении“ (No. 8, 1988, С. 55-64) и практически во всех отечественных журналах. См. примечание 37 к интервью с Евгением Рейном в настоящем издании.

<sup>13</sup> Иосиф Бродский, „Проигрыш классического варианта“, интервью Дмитрию Савицкому (январь 1983, Нью-Йорк). Фрагменты интервью опубликованы в „Epois“ (10 April 1988, P. 62-63). В полном виде не опубликовано, цитируется по рукописи, любезно предоставленной Дм.Савицким.

<sup>14</sup> Из частного разговора В.Полухиной с Бродским (апрель 1980, Ann Arbor, Michigan).

<sup>15</sup> Б.Ахмадулина, „Избранное“ („Сов. писатель“: М., 1988, С. 221-22).



Наталья Евгеньевна Горбаневская (26 мая 1936, Москва) — поэт, переводчик, журналист. Начала печататься в самиздате с 1961 года (журнал „Феникс“). Основатель „Хроники текущих событий“ (первый номер вышел 30 марта 1968 года). Связав свою судьбу с правозащитным движением, сознательно избрала путь мученика и изгоя. 25 августа 1968 года в числе бесстрашной семерки вышла на Красную площадь с протестом против оккупации Чехословакии советскими войсками — событие, описанное ею в книге документальной прозы „Полдень“ (Frankfurt/Main, 1970). В 1969 году арестована во второй раз, заключена сначала в Бутырскую тюрьму, потом насильно помещена в Казанскую психиатрическую больницу особого типа. Рано выбрав жизнь души за модель существования, Горбаневская выдержала все физические и нравственные испытания. В декабре 1975 года вместе со своими двумя сыновьями выехала на Запад, с 1976-го живет в Париже. С 1981 года Горбаневская — постоянный сотрудник газеты „Русская мысль“, с 1983-го — заместитель главного редактора журнала „Континент“. Все ее поэтические сборники изданы на Западе: „Стихи“ (Frankfurt/Main, 1969), „Побережье“ (Анн Арбор, 1973), „Три тетради стихотворений“ (Бремен, 1975), „Перелегая снежную границу“ (Париж, 1979), „Ангел деревянный“ (Анн Арбор, 1982), „Чужие камни“ (Нью-Йорк, 1983), „Переменная облачность“ (Париж, 1985), „Где и когда“ (Париж, 1985). На родине несколько стихотворений было опубликовано в журналах „Знамя“ (№ 6, 1966) и „Звезда Востока“ (№ 1, 1968). Стихи Горбаневской переведены на многие европейские языки<sup>1</sup>.

Отказываясь от формального новаторства, не прибегая к силлогизмам и избегая женского лукавства, Горбаневская упрямо и успешно остается чисто лирическим поэтом. Трагический лиризм и нравственная позиция связывают ее со своим временем крепче, чем гражданские темы, к которым обязывает ее биография. Этическим центром поэтического мира Горбаневской является чувство вины и ответственности за все содеянное другими: „Это я не спасла ни Варшаву, ни Прагу потом, / это я, это я, и вине моей нет искупленья“. Горбаневская много переводит восточноевропейских поэтов, в том числе стихи и прозу Чеслава Милоша, стихи Томаса Венцловы. В последнее время ее стихи все чаще появляются в отечественной периодике. Вышел в свет первый отечественный сборник поэта „Набор“ (М., 1996).